

Это напоминает мне, как забавно он описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи: «Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам». А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и, вспомнив о своем любимом коте, он сказал: «Впрочем, Ходжа не пристрелят, нет-нет, Ходжа никогда не пристрелят».

Джеймс Босуэлл. Жизнь Сэмюэля Джонсона

Петро

Я был сложным ребенком — я начал приносить родителям неприятности задолго до своего рождения. Когда моей будущей маме было двенадцать — а мне, стало быть, минус двенадцать, — беззубая цыганка на ярмарке сказала ей: «Твой первый сын будет уродом». Мама была молода и суеверна — она поверила в пророчество. Вернувшись домой, она заявила, что ни за что не родит на свет чудовище.

— Но как же так? — удивлялась ее мама, моя будущая бабушка. — Ты хочешь быть бездетной?

— Нет, — сказала моя мама. — Я сначала рожу второго ребенка, а потом резко перестану рожать.

Эта фраза стала семейным анекдотом, ее рассказывали всем гостям во время праздничных застолий.

Но шутки шутками, а мать моя никогда не давала пустых обещаний: зазор между словом и делом у нее тоньше лезвия бритвы.

Когда я родился, вся родня склонилась над моей колыбелью.

— Так-так, — сказал отец, — значит, получилось.

Мой отец — математик. Он не верил в мистику, беззубых цыганок и прочую абракадабру. Если бы ему сообщили, что он будет жить вечно, он тут же пустил бы себе пулю в лоб — просто чтоб доказать несостоятельность подобного заявления.

И все же — однажды он признался мне, что влюбился в мою маму задолго до того, как встретил ее.

— Мне рассказали, что на журфаке учится барышня, которая собирается рожать детей в обратном порядке. Я был покорен. Заочно.

История их знакомства — загадка. Они прекрасно помнят тот день — проблема в том, что они помнят его по-разному. Или, точнее, помнят разные дни.

>>>

Мама училась на последнем курсе журфака и проходила практику в коммунистической газете «Красный взгляд». Газета бестолковая и тоскливая, как полное собрание сочинений Ленина, — даже сотрудники редакции потешались над изданием и между собой называли его «Конъюнктивит» (символом «Красного взгляда» был огромный красный глаз). Обязанностей у мамы было немного, и все они сводились скорее к редактуре, чем к журналистике. Шел восемьдесят пятый год, 23 апреля, тот самый день — начало перестройки. И так уж вышло, что старший репортер газеты именно в тот день поскользнулся на льду и сломал обе руки («Постой-ка, а как он нашел лед весной? 23 апреля же!» — «Не перебивай! Откуда я знаю? Мне сказали, что поскользнулся на льду». — «По-моему, это странно. Это имеет смысл, только если он на катке был». — «Слушай, помолчи, а?»), и главный редактор вызвал маму к себе в кабинет. Ее задача, сказал он, сидя в огромном красном кресле под портретами-профилями Маркса-Энгельса-Ленина, взять интервью у молодого, но уже очень известного в узких кругах математика Павла Портного.

— Он будет ждать вас в библиотеке МГУ. Ровно в двенадцать.

Она опоздала на сорок пять минут («Типичная Нина». — «Ой, заткнись»).

И все же маме повезло — в тот день она нашла его. В столовой. Он сидел на подоконнике и, держа между коленей разрезанный напополам арбуз, огромной ложкойковырял хрустящую красную сердцевину. Худой неухоженный очкарик.

«Явный перебор с бровями», — подметила она.

(«Неправда! Не было никакого арбуза! Я читал книгу! Сител на подоконнике и читал книгу! Откуда вообще взялась эта чепуха про арбуз?» — «Тьфу! То тебе лед не нравится, то арбуз!»)

В тот день моя мать встретила моего отца. Проблема в том, что он встретил ее гораздо раньше.

Они ходили в один и тот же бассейн, при университете. Он плавал на сто метров, она — на четыреста. Он не блистал успехами, да и вообще боялся воды, но все равно каждый вторник натягивал унизительные узкие плавки, надеясь, что когда-нибудь все же наберется смелости и пригласит красотку в кино.

И вдруг она сама нашла его. Он ел арбуз («Не было арбуза! Не было! Я читал книгу!» — «Да? И какую же?» — «“Обезьяну и сущность” Хаксли») и был так смущен, что боялся смотреть на нее. Но когда она рассказала, зачем пришла, он успокоился: числа делали его бесстрашным.

«Человек-калькулятор, — отзывались о нем коллеги. — Не мозг, а микросхема».

>>>

Моя мать приехала в Москву из далекой провинции — за признанием. Она хотела посвятить свою жизнь чему-то важному и, окончив школу, подала документы в МГУ на факультет журналистики, но за пять лет, тысячу двести сорок часов лекций, тысячу шестьсот сорок часов семинаров и сто два часа практики, поняла лишь одно — что ненавидит журналистику и журналистов. И все же эта страсть — служить

великой цели — всегда жила в ней и искала выхода. Так Павел Портной, человек-калькулятор, стал ее проектом. У нее появилась цель: посвятить жизнь гению, как Алисия Нэш, Альма Хичкок или Мерседес Барча. Быть опорой для большого ума, о верности которой через много лет биографы будут с восхищением писать: «Это все благодаря ей!» Она уже видела, как в старости будет гулять по университетским аллеям и люди будут оборачиваться и шептаться: «Ой, это же жена лауреата премии Филдса. Помните ту его трогательную речь? Это он о ней говорил».

Да, именно в таком ракурсе она видела их совместное будущее — и именно над ним собиралась работать. Но — время шло, и оказалось, что не так-то просто заставить гения быть гениальным. Отец так и не выбился в ряды больших ученых: у него не брали интервью (на самом деле то, самое первое, их совместное интервью стало последним), с его лица не делали слепки для производства бронзовых бюстов. Его пивной живот рос быстрее, чем репутация. А его легкий эстонский акцент — он плохо выговаривал букву «д»: ротина, тереве, тверь — с годами все сильнее раздражал ее.

«Он одарен, да, но не талантлив. Это разные вещи. Его статьи в научных журналах так же скучны, как его рубашки и шутки. Да, он почти доказал гипотезу Римана. В этом весь он — одно сплошное “почти”», — жаловалась она подругам.

Со временем она стала испытывать к нему что-то вроде нетерпеливого раздражения — сродни тому, что чувствует капризный ребенок к машинке, у которой не крутятся колеса. А гипотеза Римана так и осталась недоказанной.

— Ну чего ты от меня хочешь? — спрашивал он, разводя руками (отчего становился похож на огородное пугало, думала она). — Я живу честно, я телаю свое тело. Чем я провинился?

— Ну коне-е-ечно! Ты ни в чем не виноват! Это я, это все я! Чего я хочу? Я хочу большего, понял? Сделай

одоление — убери ноль из знаменателя. Такой ум — а дураку достался.

Большой ум должен ослеплять, а не тускло поблескивать в ночи, как бутылочное горлышко в свете луны. Так думала моя мать. И в их любовном треугольнике — он, она и ее амбиции — он оказался третьим лишним.

Красавица и калькулятор.

И каждый вечер, стоя на балконе, завернувшись в плед, докуривая сигарету, бросая бычок в темноту, она говорила себе: «Сама виновата».

>>>

Мое рождение немного изменило схему их отношений. Мать перестала злиться на отца — и раздражение сменилось равнодушием. Женой гения она так и не стала и теперь хотела быть матерью гения. Амбиции ее всегда опережали время — и логику. Уже в четыре года меня отдали в музыкальную школу — по классу фортепиано.

«Ты будешь новым Шопеном», — шептала она, укладывая меня спать.

Но через два года клавишных пыток выяснилось, что особых музыкальных данных у меня нет и все, на что я способен, — это читать партитуры, запоминать последовательность нот, но не играть их.

Тогда мама отвела меня в секцию плавания. «Ты будешь олимпийским чемпионом». На третий день я чуть не утонул в бассейне.

К десяти годам я числился во всех возможных школах, кружках и секциях — включая кружок оригами и школу дрессировщиков перуанских альпак при цирковом училище*. И везде я был не к месту — как римский сестерций в горсти советских рублей.

* Ладно, шучу, не было такой школы; но если бы была, меня бы и туда записали.

Мама отчаянно искала во мне зерно величия — и при этом очень боялась, что я буду похож на отца. А я — уже в одиннадцать лет я мог по памяти воспроизвести число пи до пятисотого знака после запятой, ни разу не запнувшись. Отец знал об этом и, конечно, мной гордился, но мы скрывали мой талант от мамы — к тому времени математика в ее глазах была сродни неизлечимой хвори. Она потерпела фиаско с отцом и очень боялась, что я повторю его судьбу. А я — при ней я делал вид, что ни черта не понимаю в цифрах. И получалось, что я вру сразу им обоим: маме — о том, что не похож на отца, а отцу — о том, что хочу быть похожим на него.

>>>

Они всегда ругались, если речь заходила о моем будущем.

— Может, лучше спросим у него, чего он хочет? — сказал однажды отец, когда я вернулся с кружка авиамоделирования, облепленный пластиковыми деталями самолета «Ил-2, штурмовик». Мама выковыривала куски фюзеляжа у меня из волос, а отец обрабатывал растворителем пальцы, к которым были намертво приклеены бомбы и закрылки.

— Он ребенок! — сказала мама. — Он не знает, чего хочет. — Она выдернула кусок «Ил-2, штурмовика» вместе с клоком волос.

— Ай! Бо-о-ольно! — закричал я.

— Терпи, — сказала она. — Как ты вообще умудрился? Ей-богу, не ребенок, а беда какая-то! Ну скажи мне, как можно было приклеить к ушам куски пластмассы?

— Это не я! Это ребята! Они спросили, хочу ли я быть супергероем. Я сказал «да». А они сказали, что я теперь — человек-самолет.

Мама не оценила шутку.

— И все-таки, может, не стоит отправлять его на все возможные секции от-тнoвременно? — не унимался отец.

Он отдираал закрылки от моих пальцев и бросал их в эмалированную кастрюлю с теплой водой, стоявшую рядом.

— Ребенок должен всесторонне развиваться, — сказала мама. — Ты у нас умник, но почему-то ничего никогда не знаешь. Прочитай любую книгу по детской психологии. Детский мозг как губка: он впитывает информацию в семь — слышишь, в семь! — раз интенсивнее, чем мозг взрослого дурака.

— И что с того? — спросил отец. — Это вовсе не значит, что он т-толжен пахать за семерых. Ты ведь помнишь себя в тетстве, ты наверняка уже знала в тесять лет, что тебе нравится, а что нет.

— Да ничего я не знала ни в «тетстве», ни в «тесять лет»! — Мама всегда издевалась над его произношением, когда они спорили.

Она выдернула у меня из волос еще одну деталь «Ил-2, штурмовика».

— Ай! Бо-о-ольно!

— Терпи. Это что такое? — Она показала мне деталь.

— Это ротор, — сказал я. — На него крепится винт.

— Вот видишь! — сказала мама отцу. — Даже если ему не нравится то, что он делает, возможно, эта информация пригодится ему в будущем. Человек должен быть всесторонне развит. А ты знаешь, что такое ротор? Вот и я думаю, что нет.

Я хотел почесать затылок, но отец схватил меня за руку.

— Кута? У тебя руки в ацетоне.

— Но у меня чешется.

— Чешется у него! Где чешется?

— В затылке.

Мать с отцом стали вместе чесать мне затылок: мама левое полушарие, папа — правое. Мама чесала нежнее.

— Скажи: тебе нравится секция авиамот-тэллирования? — спросил отец.

— Ну, вообще-то... — начал было я, но мама меня перебила:

— Перестань портить ребенка!

— «Портить»? С чего это? Я просто хочу узнать больше о его претпочтениях. Разве тать ребенку то, что он хочет, — это не самое лучшее воспитание?

— Брось! Ты прекрасно знаешь, что воспитание состоит из ограничений. — Мама презрительно посмотрела на него. — Дешевый трюк!

— Какой трюк? Нет никакого трюка!

— Ты пытаешься выставить меня ответственной за все тяготы обучения, а сам эдак исподтишка даешь ему мнимую свободу. Это популизм.

Они стали ругаться, продолжая чесать мой затылок.

— «Популизм»? Нет никакого популизма!

— Перестань делать это!

— Телать что?

— Ты все время повторяешь последнее мое слово.

— Слово?

— Ну вот опять!

— Опять?

Отец улыбался — ему нравилось злить ее.

— Мам, пап! Мне больно! — подал голос я, и они перестали чесать мой затылок.

— Ты предлагаешь дать ребенку свободу, — сказала мама. — Но он же ребенок. Если детям дать свободу, они через час заболеют, объевшись мороженым. А через сутки превратятся в чумазых мартышек.

— Может быть, в этом твоя проблема? — сказал отец. — У тебя комплекс Атланта: тебе кажется, что небо рухнет, если ты не бутешь его тержать. Просто ослабь хватку. Совсем чуть-чуть. Перестань тержать небо.

Повисла тишина. Мои родители смотрели друг на друга, я смотрел на них снизу вверх, сидя на табуретке, все еще облепленный деталями «Ил-2, штурмовика».

— Ты — прямо типичный Козерог, — сказала мама презрительно.

Отец закатил глаза: «О госпот-ти! Опять».

— Ну конечно, — вздохнул он, — звезды виноваты.

— Можешь сколько угодно издеваться над астрологией, но все твоё поведение сейчас доказывает, что я права. Ты — упертый, упрямый скептик, как и все Козероги.

— То есть, по-твоему, я не верю в астрологию потому, что я Козерог?

Мама хотела ответить ему, но не нашлась и повернулась ко мне:

— Петро, сынок, скажи: может быть, ты хочешь записаться в какую-то конкретную секцию?

— Или уйти из какой-нибудь, — добавил отец.

Я испуганно смотрел на них снизу вверх. Это был первый раз в моей жизни, когда родители спросили мое мнение. По спине, вдоль позвоночника, гадко щекоча, прокатилась холодная капля пота. Я видел глаза отца — я знал: он ждет от меня поддержки его математической линии. Но я не мог — ведь я хотел совсем другого.

— Я хочу быть антропологом, — сказал я.

— Чего-о? — Они переглянулись.

— Простите, — пробормотал я, глядя на свои ладони, облепленные бомбами и закрылками «Ил-2, штурмовика». — Я много думал: я всегда мечтал путешествовать и изучать странные вещи. Я люблю странные вещи. А недавно я узнал, что существует такая профессия — антрополог. И я решил, что буду антропологом.

Родители молча смотрели на меня. Прошло примерно двести семьдесят пять лет, прежде чем они оттаяли и снова заговорили.

Отец виновато чесал затылок — на этот раз свой.

— Тела-а-а, — сказал он.

— Мам, пап! — Я видел, что они не воспринимают меня всерьез, и мне хотелось плакать от обиды. — Я уже даже прочитал одну книгу по антропологии: там человек три месяца жил среди дикарей. Я тоже так хочу. Я хочу в Монголию.

— Почему в Монголию?

Я пожал плечами:

— Потому что там есть дикари.

— Ох-х... — Мама погладила меня по голове. — Поверь, сынок, дикари есть везде. И чаще всего даже там, где ты совсем не ожидаешь их встретить.

>>>

Все эти разговоры угнетали меня — я жил с ощущением, что не справляюсь с тяжестью родительских надежд. Но я был хилым ребенком — и надежды давили все сильнее: и чем бы я ни занимался — я был ниже среднего; как тройка в школьном дневнике: всего лишь «удовлетворительно» и оттого постыдно.

«Завышенные ожидания родителей — одна из главных причин детских комплексов» — это я вычитал в книжке по воспитанию детей. У мамы их полно. И книжек, и ожиданий. Она сама — дочь талантливой пианистки и потомственного военного — выросла под высоким давлением родительских упований. От нее всегда чего-то ждали — успехов, достижений, медалей. И вот, казалось бы, наполненное невротами детство должно было как-то скорректировать ее отношение к собственным детям — но не тут-то было. Довольно сложно вырасти уверенным в себе человеком, если твои родители постоянно говорят тебе: «Ты не дотягиваешь». А если и не говорят, то ведут себя так, что все понятно без слов.

А между тем мама была очень талантлива. Честное слово, я не преувеличиваю и не пытаюсь приукрасить прошлое. У нее был дар — она сочиняла сказки. Выдумывала их буквально на ходу, когда укладывала меня спать вечерами.

Однажды я пришел домой из школы, и, помогая мне раздеться, мама нашла в моем кармане камень.

— Это еще что такое?

Я рассказал, что видел по телевизору, как ураган вырывает дерево из земли и уносит прочь. И это так меня напугало, что теперь, выходя на улицу, я набивал карманы камнями — мне казалось, что если меня настигнет ураган, то тяжесть камней не позволит ему оторвать меня от земли. Мама внимательно слушала историю. Она не смеялась надо мной и не называла меня дурачком — нет, она всерьез задумалась над моими словами. И уже вечером, вдохновленная моей историей, она написала сказку.

ГРАФТ И СЕРДЦЕ

Графт был необычным мальчиком — он родился без сердца. В прямом смысле. Под ребрами с левой стороны у него было пусто. А в остальном он был такой же, как все, — любил футбол, конфеты и маму. Он никогда не дрался, не грустил и не дергал за косички одноклассниц — он был сам по себе. Как большой палец на руке.

И только одно беспокоило его родителей: Графт был такой легкий, что при ветреной погоде ему приходилось носить в кармане тяжелый камень, иначе ветер уносил его слишком далеко от дома.

Мать водила его по врачам, но никто из них так и не смог объяснить, почему ребенок весит не больше сухого листа и как это связано с отсутствием сердца.

Вот так и проходил Графт всю свою юность с пустой грудной клеткой и камнем в кармане. Окончил школу, институт, и пришло время искать работу. Все люди работают — а почему, зачем? Никто не знает. Графта учили, что человек должен приносить пользу, поэтому и работу он искал особенную: такую, где он мог бы быть полезен.

Он решил стать врачом и пошел в больницу.

Приходит и говорит:

— Я хочу быть врачом. Дайте мне больных, я буду их лечить. — И кулаком по столу стучит. — Где больные? Я пришел их лечить. Почему мне не дают больных?

— А почему вы хотите лечить людей? — спросили у него люди в белых халатах.

— Я умный! — ответил Графт и опять стукнул кулаком по столу. Он любил стучать кулаком по столу — ему нравились громкие звуки. — Я знаю о внутренних органах все. Я окончил институт — вот красный диплом. Еще у меня есть зеленый и синий. У меня много дипломов, потому что я умный, а вы — нет. Ха-ха-ха! — засмеялся Графт. У него было необычное чувство юмора.

— А справка о здоровье у вас имеется? — спросили люди в белых халатах. — Чтобы лечить больных, надо самому быть здоровым!

— Конечно, есть! Вот!

— Но постойте! — сказали люди в белых халатах. — Тут написано, что у вас нет сердца.

— Ну и что? Зато у меня есть руки. Разве больных лечат не руками? — Графт показал им свои огромные руки, пошевелил пальцами.

— Извините, — сказали люди в белых халатах. — К сожалению, мы не принимаем на работу людей без сердца.

— А что же мне делать тогда? — спросил Графт.

— Ну, вы можете стать политиком. Или военным. Или адвокатом.

— Но я хочу приносить пользу! — сказал Графт. — Я много учился, я много знаю!

— Для того чтобы приносить пользу — знать недостаточно, — сказали люди в белых халатах.

И Графт ушел. Он совсем не расстроился — у него ведь не было сердца. И даже в детстве, когда он читал книги, например «Дон Кихота», ему было скучно: он не понимал, почему люди страдают, встречая несправедливость.

Графт переходил дорогу, когда его окликнул человек: «Эй, парниша! Я слышал, тебе нужно сердце?»

Графт обернулся. Перед ним стоял некто в коричневом плаще — руки он держал в карманах, а высокий воротник

был поднят; Графт не видел лица, и ему казалось, что это сам коричневый плащ с ним разговаривает.

— Что вы сказали?

— Я могу продать тебе сердце. Ты ведь хочешь принести пользу?

Графт кивнул.

Коричневый Плащ повел его по узким, темным переулкам, они зашли в какой-то подвал, где одинокая лампочка освещала стол, стоящий посреди пустой комнаты. Порывшись под столом, Коричневый Плащ достал картонную коробку и открыл ее. Графт заглянул туда — и увидел десятки сердец. Синевато-красные, овальные — они выглядели точь-в-точь как на картинках в учебнике биологии. Только живые, настоящие. И все они бились, пульсировали — одни быстро и громко, другие медленно и спокойно.

— Это отдам за полцены, — сказал Коричневый Плащ, указав на маленькое чахлое сердце с дырочкой в боку.

Дырочка была заклеена пластырем, но пластырь держался плохо. Сердце билось — и дырочка свистела, приподнимая пластырь.

Графт взял одно сердце — и оно засветилось у него в руках, как лампочка.

— А чего это оно? — спросил Графт.

— Чувствует тепло человеческих рук, — сказал Коричневый Плащ. — Они всегда так. Люди часто покупают их как светильники. Это очень выгодно — гораздо выгоднее даже, чем энергосберегающие лампы. Сердцу ведь не нужно электричество — достаточно сказать несколько ласковых слов, и оно начинает светиться. Глупый орган.

— Да. Глупый, — согласился Графт. — А сколько стоит?

— Это зависит от сердца. Вот это — тысячу, а вот это — сто.

— А почему так дешево?

— Оно бракованное. Видишь, треснуло.

— А чего оно треснуло?

— Не знаю. Уронили, наверно. Или от холода. Но ты не бойся, треснутое сердце даже лучше. Оно светит, конечно, не так ярко, зато чувствует больше и сильнее. Ты ведь хочешь приносить пользу — тебе пригодится. Парадокс, но поврежденные сердца приносят гораздо больше пользы. К тому же у меня сегодня акция: если ты купишь это треснутое сердце, в подарок ты получишь красный клоунский нос и оленьи рога.

— Зачем мне оленьи рога?

— Как это зачем? А вдруг на тебя нападет олень! Что ты будешь делать без рогов?

Графт покачал головой.

— Я не думаю, что на меня нападет олень, — сказал он.

— Ты смотри, какой самоуверенный! — цокнул языком Коричневый Плащ. — Ну, если не хочешь рога, тогда возьми вот эту кожаную перчатку.

— Одну? А где вторая?

Коричневый Плащ разозлился:

— Слушай, чего ты придираешься! Не будь занудой! Ну хорошая же перчатка — смотри!

— Да я вижу, что хорошая. Но ведь она одна, а рук у меня две. — Графт выставил перед собой свои огромные руки, пошевелил пальцами.

— Да-а-а, это проблема, — задумчиво сказал Коричневый Плащ. — Но ты не злись. Я просто продолжаю дело своего отца. Мой папа всегда терял вещи: носки, ботинки, перчатки. И его это ужасно злило, потому что терялись у него всегда парные вещи. И однажды в голову ему пришла гениальная идея: он открыл магазин, в котором стал торговать вещами без пары: одна перчатка, один ботинок, один носок. Идея была проста — ведь люди постоянно что-то теряют, правильно? Особенно носки! Ну вот, представь: потерял ты один носок, и один у тебя остался. Что делает в таком случае обычный человек? Просто выбрасывает второй! Но ведь это — ужасное расточительство!

Выбрасывать вещи! Замысел моего папы был прост: любой человек, потерявший одну из парных вещей, мог просто прийти в его магазин и найти новую пару! Гениально, правда?

— Да, наверно, — с сомнением сказал Графт.

— Вот поэтому я и хочу продолжить его дело. А пока торгую сердцами — коплю стартовый капитал. Уже через год я собираюсь открыть магазин потерянных пар.

— Удачи тебе. Но мне сейчас не нужна перчатка — я куплю вот это сердце.

— Отличный выбор! Хочешь, я заверну его в подарочную бумагу? — спросил Коричневый Плащ.

— Нет, не надо. Оно маленькое — я просто положу его в карман.

— Ну что ж, спасибо за покупку. Не забудь чек, гарантия две недели. Если передумаешь насчет перчатки — ты знаешь, где меня найти. И не жалуйся, если на тебя вдруг нападет олень! Сам виноват — надо было брать рога!

Графт шел по улице, и вокруг не было ни одного оленя.

Сердце тихо билось у него в кармане. Оно было мягкое и горячее, Графту нравилось прикасаться к нему. Раньше он никогда не видел настоящих сердец — и теперь очень удивился, когда заметил, что карман его светится ярко-ярко, дрожащим светом. Как будто там горит костер.

Графт пришел домой, положил сердце на стол и долго смотрел на него. И как-то радостно было у него внутри. «Надо же, — думал он, — теперь у меня есть собственное сердце. Это очень приятно. А почему — непонятно. Без всякой причины».

Он подошел к плите, взял чайник и хотел налить воды — и вдруг услышал тихий шлепок. Он обернулся — сердце упало со стола и покатилося к двери.

— Стой!

Графт догнал его и подхватил. Сердце вспыхнуло — и на мгновение ослепило его. И пока из глаз его сыпались искры,

он увидел лицо девушки. Сердце принадлежало ей — и теперь стремилось обратно.

— Но ты мое! Я ведь тебя купил, — сказал Графт.

Сердце снова вспыхнуло, и он почувствовал, как внутри у него все заболело — как будто птица била крыльями у него под ребрами, в пустоте.

Сердце снова выпало у него из рук и, как клубок ниток из сказки, покатилося к двери. Графт открыл дверь — и сердце выкатилось наружу. Оно катилось медленно — и светилось все сильнее. Графт шел за ним и иногда нес его на руках, переносил через лужи и помогал переходить дорогу. Люди оглядывались удивленно.

— Вот чудак! — восклицали прохожие. — Сердце выгуливает! Все же знают, что сердце надо держать под замком или на поводке, чтоб никто не украл и не разбил. Одни проблемы от него. Глупый орган, — говорили они и шли дальше.

А Графт шел за сердцем. Оно привело его в парк, где на скамейке у озера сидела девушка с длинными волосами. Волосы были такие длинные, что путались вокруг скамейки и лежали на дороге. Прохожие осторожно переступали через волосы и ругались:

— Ишь, разбросала свои косы! Причесалась бы хоть, шельма!

Девушка не слушала их, она кормила стаю воробьев хлебными крошками. Сердце подкатилось к ней и остановилось. Девушка испуганно посмотрела на него, потом — на Графта. Графт поднял сердце, отряхнул от пыли, снял несколько сигаретных бычков, прилипших по пути, и протянул сердце девушке.

— Кажется, оно ваше, — сказал он.

Девушка посмотрела на сердце — и пожала плечами.

— Больше нет. Я подарила его.

— Как? Кому?

Графт стоял, не двигаясь, окруженный воробьями. Воробьи сидели на его ботинках, на руках, на плечах, на

голове — и даже на носу и на ушах. И каждый воробей смотрел на сердце.

— Я подарила его одному человеку, — сказала девушка. — А он поменял его на ботинки. Синие, замшевые, с белыми шнурками.

— А что было дальше? — спросил Графт, и воробьи взлетели с его рук, носа и ушей, покружились над ним и расселись на ветках акации.

— Ничего, — сказала девушка. — Он до сих пор ходит в этих ботинках.

Графт сел рядом с девушкой и положил сердце ей на колени.

— Где вы его нашли? — спросила она.

— Купил.

— А зачем оно вам?

— А у меня нет сердца. Я родился без него. Хотел вот, так сказать, восполнить пробел. Но раз уж оно ваше, то...

— Но я не могу забрать его у вас.

— Почему?

— Оно слишком тяжелое. Сердце — центр тяжести человека. Вся тяжесть в нем скапливается, а я не хочу так. Я не смогу его нести — мне тяжело, я надорвусь.

Графт долго смотрел на девушку — ему хотелось прикоснуться к ней.

— Хочешь, я помогу тебе нести его? — спросил он.

Так они и сделали. И жили долго и счастливо — с одним сердцем на двоих. А Графт с тех пор вместо камня носил в кармане только конфеты. Он больше не боялся ветра.

>>>

— А почему его зовут Графт?

— Это твое первое слово. Первое, что ты сказал в жизни, — засмеялась мама. — Вот я и подумала: неплохое

имя для сказочного персонажа. У кого-то первое слово «мама», а у тебя — «графт». Ты как будто рычал или лаял.

Окончив рассказ, мама целовала меня в лоб, выключала ночник и уходила. А я лежал в кровати, таращился в потолок и думал: о Графте, и его бессердечии, и о камне в его кармане, и о Коричневом Плаще, и его странных затеях, и, конечно, о девушке, которая подарила свое сердце незнакомцу. И я мечтал, чтобы какая-нибудь девушка с длинными волосами подарила свое сердце мне. Я бы никогда и ни за что не променял ее сердце на синие замшевые ботинки с белыми шнурками. Я берег бы его, сдувал бы с него пылинки — и каждый вечер, сидя в кресле, читал бы (или писал) книгу при свете этого сердца.

>>>

Если мама в своих историях делала упор на воображение и развитие души героя — ее притчи учили добру и храбрости, — то рассказы отца были другими, под стать его характеру, они напоминали краткие эссе о природе вещей. Когда приходила его очередь провести со мной вечер, он садился не на край кровати, как мама, а на стул, оглядывал комнату, выбирал какой-нибудь незначительный предмет — например, карандаш, канцелярскую скрепку или, как было однажды, стену — и начинал:

— Сегодня мы поговорим о стенах. Что мы знаем о них? Я пожимал плечами.

— Ну, во-первых, они отлично играют в теннис — и всегда выигрывают, — говорил отец, стараясь сохранять серьезность. — Во-вторых, стены — скучные собеседники. Мой тебе совет, сын: никогда не разговаривай со стенами — это пустая трата времени. Парадокс: в народе стена не считается таким уж революционным изобретением; во всяком случае, в рейтинге полезности она уступает колесу и математике. Но, по-моему, это несправедливо: вот мир без математики

я легко могу себе представить — для этого нужно всего лишь сходить на рынок; а давай представим себе мир, где нет стен. Куда ты теперь будешь клеить обои — на деревья? А рамки с фотографиями? Мир без стен превратится в хаос: ведь если их нет, то окна будут просто глупо висеть в воздухе, а двери вообще потеряют смысл.

Он делал паузу, подмигивал мне.

— Ладно, шутки в сторону. На самом деле стены могут рассказать гораздо больше, чем ты думаешь. Заурядны не стены — заурядны те, кто считает их таковыми. Нужно лишь научиться понимать их язык — язык жестов своего рода. Не веришь?

Я качал головой.

— Навскидку вот тебе две стены — Великая Китайская и Берлинская. Первая — воплощение Востока, вторая — Запада. Первая — символ единения, вторая — раскола. Первая стоит уже десятки веков, вторая рухнула, едва отпраздновав двадцать седьмой день рождения. Возведение обеих было своего рода жестом.

Странно: в западной культуре слово «стена» имеет негативный оттенок («разговаривать со стеной», «сидеть в четырех стенах»). Восток же видит все иначе: для них стена — не столько символ герметичности, сколько — самобытности. В японских домах стены бумажные — чтобы подчеркнуть тонкость ощущений, возможно. И, я думаю, нам стоит у них поучиться.

Стены умеют говорить — и чем старше стена, тем громче ее голос. Стена со следами пуль в кирпичной кладке гораздо красноречивей, чем газетная статья о расстреле. Стена Плача прочнее, чем стены военного бункера, — потому что у нее есть голос, и ее цель — не защитить, а дать надежду. Стены бункера защитят тебя, но надежды ты от них не дождешься. Мой рассказ кажется тебе чересчур помпезным? Что ж, виновен — люблю передразнивать Гюго.

Вот пара интересных фактов: в некоторых арабских странах в качестве скрепляющего раствора для стен использовали мед; а Стена Плача вообще возведена без скрепляющего раствора. Ты все еще считаешь стены скучными?

>>>

Мои родители отличались друг от друга так же, как их истории. Они как будто жили в разных мирах; или все же в одном — но по разные его стороны: как Западный и Восточный Берлин. И даже я не стал для них скрепляющим раствором.

А потом все стало еще сложнее — мне сказали, что у меня «будет братик».

— Братик? — Я удивленно смотрел на маму. — Но мне не нужен братик. Я хочу видеокамеру.

— О гс-с-споди, Петро! Ты сам себя слышишь? — Мать гладила себя по животу. — Нельзя так говорить.

Братик, Егор, родился, когда мне было шесть. Мама к тому моменту уже забыла о предсказании гадалки и о своем обещании «родить сначала второго ребенка, а потом резко перестать рожать».

И в жизни моей стало на одну проблему больше.

«Странное дело, — думал я, глядя на мамин растущий живот, — он еще даже дышать самостоятельно не может, но уже умудрился испортить мне жизнь».

>>>

Детство — это метаморфозы; каждый ребенок — немного Овидий; он пишет собственную историю перевоплощений. Это взрослые «ищут себя» (что бы это ни значило), но дети — другие, они ищут новые формы себя. Оно всегда так: мне бы вершить судьбы мира, а тут — домашка по алгебре. Сложно достать луну, если ты даже пакет молока

с верхней полки холодильника не можешь достать без табуретки. И я — я был настолько одержим далекими мирами, мечтами о другой, удивительной жизни, что даже в школе стал врать всем о своем происхождении.

Мне было тринадцать, когда наша семья переехала в поселок Рассвет в Ростовской области (поближе к маминым старым родителям и новой отцовой работе), и седьмой класс я оканчивал уже в совершенно другой школе. Каждый новичок знает это унижительное чувство — когда учитель выводит тебя к доске и заставляет рассказать немного о себе. И — клянусь вам: когда я стану президентом, я первым делом наложу мораторий на подобные пытки. У меня будет два моратория: на баранки и на вызов к доске.

Почему на баранки? Не спрашивайте, это слишком личное.

И вот: я стою перед одноклассниками — во всей красе. Точнее, во всей нелепости: ведь мама, по случаю первого дня в новой школе, нарядила меня в костюм с лиловым галстуком. Спасибо, мама. Низкий поклон тебе, тройной книксен. Даже если бы у меня на шее висел мертвый пудель, я бы вряд ли так сильно бросался в глаза. Ах да: мои волосы — они намочены и зачесаны набок с ровным пробором — мое сходство с Гитлером настолько вопиюще, что я уже мысленно планирую захват Польши*.

— Класс, знакомьтесь, это наш новый ученик, Петр. У него очень интересная фамилия: Портной, — говорит Нина Петровна, учительница географии. — Сейчас Петя расскажет нам немного о себе. — Она смотрит на меня и кивает.

Я выдаю скороговоркой:

— Рост: метр семьдесят шесть. Размер ноги: тридцать семь. Любимый цвет: красный. Можно я пойду?

— Петя, постой, куда ты?

* Красть шутки у Вуди Аллена нехорошо. — *Примечание Егора.*

Нина Петровна изумленно замирает у доски. Класс хихикает — и это хорошо: я чувствую, как атмосфера медленно оттаивает. Мне страшно смотреть на одноклассников, и я изучаю кактус на подоконнике. Кактус выглядит вялым и уставшим, и я его понимаю.

Нина Петровна прочищает горло, все замолкают.

— Петя, — говорит учительница, — я имела в виду твою жизнь. Откуда ты, кто твои родители. Вот кем, например, работает твой папа?

Я бросил на нее полный отчаяния взгляд. Ну почему — во имя всех слепых котят, во имя Александра Сергеевича Пушкина, во имя озоновых дыр, почему?! — ты задала мне именно этот вопрос? Ты, странная женщина в черно-белополосатом пиджаке, из-за которого тебя всю жизнь будут называть Пианиной Петровной.

Я вспомнил насмешки одноклассников из прошлой школы: «А знаете, как родился Портной? Его папа возвел его маму в квадрат, а потом извлек из нее корень, ха-ха-ха!»

Передо мной сидели дети, способные превратить в Дантов ад следующие шесть лет моей жизни (по полтора круга на каждый год), и некоторые из них, пожалуй, именно это и собирались сделать. Я просто не мог — не мог, понимаете? — сказать правду.

— *Мой папа — антрополог.*

Я соврал — это вышло спонтанно.

Класс зашуршал — дети слышали это слово впервые и теперь были заинтригованы. Я буквально видел, как шевелятся их любопытные уши, как глаза их наполняются интересом к моей скромной персоне. Это было... приятно.

— Пардон-н-н? — спросила Пианина Петровна. Она всегда растягивала букву «н» в слове «пардон», если ее что-то удивляло. — Ты, верно, что-то напутал. — Посмотрела в журнал, провела длинным розовым ногтем по одной из строчек. — У меня написано, что твой папа — преподаватель высшей математики.

— Это ошибка, — сказал я, сглотнув. — Он антрополог, он изучает монгольских дикарей.

Так началась моя «Монголиада», короткая и бесславная.

Пианина Петровна осторожно присела на край стула. Класс зашептался. А я мысленным веником смел под мысленный ковер последние крохи стыда — и стал рассказывать трагическую историю своей вымышленной жизни: о том, что мой отец женился на моей дикарке-матери лишь из любви к науке и провел с ней всего одну ночь; и что я — результат этой ночи; и что родился я в монгольской пустыне; и что раскаленный пустынный песок оставил на моем теле — и на душе, конечно, тоже, куда ж без этого? — незаживающие шрамы...

— Закежь шрамы! — раздался возглас с задней парты.

Я выпростал рубашку из брюк, задрал ее насколько возможно и повернулся спиной к классу. Пианина Петровна кинулась ко мне и потянула рубашку вниз, издавая невнятные звуки расстроенного пианино (как если бы кошка гуляла по клавишам). Но было поздно — все одноклассники увидели мои ожоги, и по классу, как по стадиону, прокатился одобрителный гул.

— Птр Пртнй! Нмедленно престань хлиганить!

Естественно, шрамы мои не имели никакого отношения к раскаленному песку пустыни Шамо. Эти ожоги я получил в три года, когда пытался помочь бабушке донести до ванной кастрюлю с кипятком (мой вам совет: опасайтесь бабушек. Любой предмет в их руках может стать оружием).

В тот день я впервые в жизни понял, что это значит — завоевать аудиторию.

>>>

После уроков учительница, разумеется, позвонила родителям, и дома меня ждала взбучка. Мама дрожащим голосом говорила что-то о лжи и ответственности, а я стоял

в дверном проеме, опустив голову, в знакомой позе осужденного, и разглядывал дырку в носке (вот, кстати, еще вопрос: почему пальцы на ноге называются так же, как и на руке? Зачем мне на ноге «указательный палец»? Я ведь ни разу в жизни им не указывал! Нелогично как-то). Отец сидел за столом на кухне и ножом намазывал масло на хлеб, сосредоточенно, с видом реставратора, наносящего лак на фреску.

Мама повернулась к нему:

— А ты ничего не хочешь сказать?

— А? — Он отвлекся от бутерброда. — Сказать о чем?

— Твой сын сегодня придумал себе новых родителей.

— Слушай, ты сама готами утюжила его всеми этими своими «техниками развития воображения». — Он отложил бутерброд и изобразил кавычки пальцами, потом показал на меня: — Вот, пожинай плоды, у него отличное, первоклассное воображение.

— Ну знаешь, есть разница между воображением и ложью.

Отец вернулся к бутерброду:

— Это уже из области этики, а в ней я не силен. Я математик, помнишь?

>>>

Не поймите меня неправильно — я не против математики. Очень даже за. Между прочим, я и сам чертовски умен. И не надо ухмыляться, я серьезно. Вся штука в том, что быть умным и быть интересным — не одно и то же. Если ты можешь по памяти воспроизвести число пи до пяти-сотого знака после запятой — ты умен; и все бы ничего, но число пи не поможет тебе завести друзей. Поверьте, я проверял.

Я очень быстро понял, что совершил ошибку — нарушил главное правило новичка в сельской школе: «Не отвечивай».

Я сочинил «Монголиаду», потому что хотел понравиться новым одноклассникам, впечатлить их, но оказалось, что улучшенная, более экзотическая версия моего прошлого вовсе не сделала меня популярным, — как раз наоборот: я стал изгоем.

Все началось с целого вороха кличек: Монгол, Бархан, Верблюдоеб, Горбатый, Порнокопытный, Саксаул. Придумывать клички мальчишкам быстро надоело, и вскоре от слов они перешли к делам: например, однажды на физкультуре я оставил сменку в раздевалке и, когда вернулся, обнаружил, что мои ботинки под завязку набиты песком.

Главным зачинщиком и дирижером всех издевательств в нашем классе был Тимур Головня, мальчишка, чья фамилия, похожая на кличку уголовника, словно бы предопределила его будущее. Неправильный прикус придавал его и без того озлобленному лицу какое-то совсем свирепое, бульдожье выражение. Он был самым старшим, самым высоким и самым тупым в классе — даже свою фамилию писал с ошибками. И только две вещи он умел делать хорошо — играть в футбол и унижать слабых.

Опознать изгоя легко: единственное свободное место в классе — рядом с ним. Так вот, первые две недели зимней четверти я просидел за партой в одиночестве (увы, совсем не в гордом), но в конце января все изменилось — в классе появился еще один ученик. Он не был новичком, просто пропустил учебу из-за болезни.

Его звали Александр Грек. Тщедушный, низкорослый и лохматый, внешне — типичный мальчик для битья, с вечным насморком и криво подстриженной челкой, падающей прямо на глаза (явный признак крайней нищеты родителей,

в деревне таких видно издалека; кривая прическа всегда означает, что ребенка стригут дома, обычными, самыми дешевыми ножницами, потому что на парикмахера денег нет и не будет). Он плюхнулся рядом со мной, но лишь потому, что других свободных мест в классе не было.

Мы оба не особо стремились к знакомству, поэтому первое время делали вид, что не замечаем друг друга, хотя он, очевидно, старательно изучал меня, а я — его.

Первое, что я заметил (и после этого сразу зауважал его): он не смеялся над тупыми шутками «крутых» пацанов.

Знаете, в каждом классе есть парочка таких комиков, альфа-самцов, которые любую, даже самую безобидную реплику учителя стараются переделать в шутку, выкрикнуть что-то с места. Их цель — заставить класс смеяться. Самое противное в том, что шутки у них, как правило, несмешные, и остальные дети реагируют вовсе не на юмор, а на репутацию. Если хохочешь над шутками альфа-самца, это снижает вероятность встречи с его кулаками.

У всех учителей в школе были клички. Учителя литературы звали Федя ФМ, манерой речи он действительно напоминал радиоведущего: он приносил на уроки свой двухкассетный магнитофон «Панасоник» и включал его прямо посреди урока, рассказы о писателях перемежались музыкальными паузами и фрагментами из известных радиопьес.

В конце апреля на одном из уроков, когда мы проходили «Евгения Онегина», он воскликнул:

— Пушкин — это пир духа!

Один из «крутых» пацанов поднял руку.

— Да, Михаил, что ты хотел?

— Вы сказали «пирдуха»?

Учитель кивнул, он был так увлечен поэзией Александра Сергеевича, что не заметил подвоха.

— Пирдуха? — повторил пацан, удалив пробел между двумя словами. По классу волной пробежались сдавленные

смешки. — Зачем вы обзываете Пушкина «пирдухой»? Что он вам сделал?

Пацаны прямо давились от смеха, девчонки тихо хихикали, зажимая рты ладонями. Но я сидел смирно и всеми силами душил в себе эти подбострастные хиханьки; нет, ну правда: эта шутка такая старая, что ее бородой можно пару раз окольцевать экватор. Я посмотрел на соседа по парте, он тоже не смеялся и точно так же, как я, всем своим видом демонстрировал презрение к тупым шуткам. «Эй, может быть, он не так уж и плох. У него есть гордость», — подумал я.

Как выяснилось позже, он в тот момент то же самое подумал обо мне.

На следующий день, когда раздался звонок на большую перемену, он протянул мне записку: «Рюкзак возьми с собой, иначе они тебе туда песка насыплют».

В этой записке меня удивили две вещи: отсутствие ошибок и идеальный, почти каллиграфический почерк.

И — на последнем уроке: «Они будут ждать тебя за живой изгородью по дороге на площадь Четырех Елок. Хотят насыпать песка за шиворот. Советую идти через лесополосу, вдоль трассы».

У меня не было особых причин доверять ему, это могла быть и ловушка, и все же: он ведь не смеется над их шутками, значит, он не один из них, думал я. И оказался прав: благодаря его наводкам я успешно избежал нескольких засад. Он стал моим информатором, заранее предупреждал меня о планах Тимура и его команды. Вообще, эти уроды со временем даже как-то забыли обо мне.

— Как тебе это удастся? — спросил я однажды. — В смысле как ты узнаешь об их планах?

— Всех представителей рода говнюков объединяет одно, — ответил он, откинув челку с глаз, — они крайне неизобретательны. У меня было время изучить их повадки. — Пауза, вздох. — На твоём месте раньше был я.

Так началось наше знакомство.

Главное, что меня поражало в Греке: он был как бы сам по себе, не пытался никому понравиться. У него совсем не было друзей, и вел он себя так, словно и не нуждался ни в чьей дружбе. Он везде появлялся с книгой, постоянно что-то читал и этим нарушал главное правило выживания в сельской школе: «Не отвечивай». Мальчишки-школьники всегда особенно тщательно следят за своей репутацией, и если кто-то и читает книги, то старается помалкивать об этом, за такое и побить могут: «Слышь,мышь! Ходь сюды! Чё это ты книжки читаешь, ты чё, самый умный, что ли? А может, ты того, гомика? Любишь книги? Книгоеб, что ли?» Но Грек не боялся быть осмеянным. На физкультуре, пока мы разминались или играли в футбол, он сидел с книжкой в руках за линией поля, прислонившись спиной к стволу акации. И даже когда пацаны ради смеха запускали в него мячом (игра называлась «Попади в книгоеба»), он просто откидывал упавшую на глаза челку (таким, знаете, характерным движением головы), подбирал выскользнувшую из рук книжку, отходил подальше, садился на землю и снова отращивал вокруг себя невидимый, непроницаемый купол одиночества.

>>>

Когда мы переехали в Рассвет, мой младший брат Егор пошел в первый класс, мама снова стала искать работу — и вскоре устроилась редактором в небольшое издательство в Ростове — и после этого, разумеется, свалила на меня все свои обязанности. Теперь я должен был сам (?) делать уроки, убираться в комнате, мыть посуду после ужина и забирать малька из музыкальной школы. Из ее сына я превратился в ее раба.

— Но почему опять я?!

Мама сидела за трюмо в голубом халате и расчесывала волосы белым гребешком, похожим на фрагмент рыбьего позвоночника. Она посмотрела прямо на меня через зеркало.